

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“МОЙ НЕИЗБЫВНЫЙ ВЕРТОГРАД...”

В подмосковном Реутове в небольшой квартирке я сидел напротив Николая Ивановича Тряпкина, который читал мою статью о его книге избранных стихов, незадолго до этого вышедшей в “Молодой гвардии”.

Время от времени он чему-то улыбался про себя, поднимал на меня наполненные прозрачной голубиной глаза, снова углублялся в чтение, потом прерывистым заикающимся голосом просил прочесть вслух то или иное место. Я читал, а он вслушивался, погрузившись во что-то своё, останавливал меня, давал пояснения, благодарил за найденное точное слово... Ободренный его благожелательным вниманием, я попросил прочитать несколько стихотворений вслух.

— Я н-н-не ум-м-мею ч-чи-итать. Я п-пою-ю-у.

И дальше началось чудо. Послышался распев, переходящий в речитатив, в котором не было ни малейшего голосового сбоя. Плеск воды, шум листвы, шёпот земли слышались в этом распеве, напоенном глубинной энергетикой почвы и космоса, завораживающем, погружающем в таинственные глубины бытия.

*За мосты, что мы позамостили,
За весёлый сон в родном краю
Поклоняюсь всем соцветьям лилий
И всему, что знаю и люблю.*

*Поклоняюсь вам, поля и веси,
За непьющий мой и добрый кров.
За вечерний сумрак перелесиц,
За полночный ропот проводов.*

*А ещё за то, что нас — растили,
А ещё за то, что мы — росли
И великий свет своих воскрылий
По земным дорогам пронесли.*

Он пел и только что написанную “Литанию”, и старое “Суматошные скрипы ракет...”, и, наконец, прозвучал знаменитый “Стих о Николае Клюеве”. И чем дальше, тем больше нарастало ощущение лишь поверхностного прикосновения к таинственному матерiku, вырастающему на моих глазах.

Хотелось слушать ещё и ещё, впитывая в себя каждую ноту... Тряпкин остановился, светло заулыбался, приспустил веки.

— Н-ну, в-в-всё-ё. П-пожд-дите-е-е, я в-вам п-прин-н-несу...

Он вынес несколько страниц машинописи. Это были недавно написанные стихи, которые ни при какой погоде в то время не могли пойти в печать. Среди них были “Песнь о российском храме”, “Стенания у развалин Сиона”, “Молчи, Иеремия!..”, “Обращение неопита к народу у дверей первого христианского храма”.

— В-возьм-м-мите себ-бе. Почит-тайте-е-е.

Это было летом 1982 года.

... Потом были ещё встречи, уже в его московской квартире и в Доме литераторов, где я однажды с трудом уговорил его напеть несколько стихотворений для записи на магнитофонную плёнку... Но та, первая встреча ярче всего вспоминается по сей день.

* * *

Два поэта, два ровесника, с совершенно разными судьбами уже на склоне лет, вспоминая начало своей земной жизни, словно вступили друг с другом в заочный непримиримый спор.

Эти строки принадлежат Ивану Елагину.

*Ты сказал мне, что я под счастливой родился звездой,
Что судьба набросала на стол мне богатые яства,
Что я вытянул жребий удачный и славный... Постой!
Я родился под красно-зловещей звездой государства.*

*Я родился под острым присмотром начальственных глаз,
Я родился под стук озабоченно-скучной печати.
По России катился бессмертного “яблочка” пляс,
А в такие эпохи рождаются люди некстати.*

И совершенно иное — не воспоминание, ощущение — “великого и страшного” восемнадцатого года у Николая Тряпкина.

*Ах, не свет исторгает глина
И не с громом сходится гром —
То отец повстречался с сыном,
То расплакались сын с отцом.
.....
Не припомню, что дальше было,
Только чую в своей крови:
Вся земля ходуном ходила
От великой своей любви.*

*И сквозь тысячи Млечных светов
Пронесился вселенский бал.
И гремело “За власть Советов”
У истоков моих начал.*

“Я родился при Советской власти, и другой не мыслю для себя”, — писал позже Тряпкин, до конца осознавая цену как “великой любви”, разлитой по мирозданию в период мирового катаклизма, так и зловещего света красной звезды, осветившей и его крестьянский род, и весь мир, “таинственный и древний”, русской деревенской Ойкумены.

* * *

Мощная ветвь нашей литературы, названная ещё в начале XX века по недоразумению “крестьянской поэзией”, была обрублена к началу 30-х годов. Она завершила своё существование, казалось, не успев дать новых зелёных побегов. По сути дела, это было лишь начало своеобразного, яркого потока в русской изящной словесности XX столетия. Увы, создалось впечатление, что продолжения не последует, да и откуда было ему взяться? Родоначальники этого направления — Николай Клюев и Сергей Клычков, — достигшие

к концу 20-х годов подлинной творческой зрелости и гармонии, сначала были выжиты из литературы, а потом физически истреблены. Пимен Карпов дожил до начала 60-х годов в полной безвестности, не имея возможности в течение почти четверти века опубликовать ни одной своей строки. Ни Пётр Орешин, в наиболее радужных тонах писавший о колхозной деревне, ни представители более молодого поколения – Василий Наседкин, Иван Приблудный – не пережили “Большого террора”. С 1927 года не прекращалась бешеная посмертная травля великого русского лирика – Сергея Есенина. Даже самые злейшие враги поэта вынуждены были признать, что его имя и его поэзия пользуются огромной популярностью в народе, и, дабы не превращать его стихи в запретный плод, который, как известно, особенно сладок, вынуждены были издавать небольшими тиражами есенинские сборнички с соответствующими предисловиями, “объясняющими” поэта и намекающими на нешуточные последствия для тех, кто не внимал этим “объяснениям”.

Казалось, всё кончено, проповеднический глас Николая Клюева и пронзительная лирическая песнь Сергея Есенина навечно остались в прошлом. Коллективизированная деревня рождала новых певцов. Их появлению предшествовало издание в 1928 году первой книги Михаила Исаковского “Провода в соломе”, которого тогда же противопоставили “старикам”, ушедшим и ещё живым, и объявили “подлинно народным поэтом”. И всё творчество Михаила Исаковского 30-х годов оправдывало выданные спервоначалу авансы. Явление Александра Твардовского, воспевшего зажиточную колхозную жизнь и декларативно отрешившегося от прошлого, в том числе и от своих родителей, подвело окончательный, как казалось, итог: старая “крестьянская” поэзия, основанная на “реакционном развитии фольклора”, обречена на слом и может существовать лишь в качестве не слишком желательной “музейной ценности” (как назвал одно из своих “гражданских” стихотворений, проникнутых ненавистью к историческому прошлому России, Семён Кирсанов).

Первые опубликованные стихотворения Николая Тряпкина были ещё в русле того направления, которое было воплощено Исаковым и Александром Прокофьевым. Но ощущалось и нечто другое, время от времени слышались ноты, вроде бы ещё недавно полновзвучные, но заглушённые и замолчанные. И это не осталось незамеченным. Талант был очевиден, и Александр Фадеев в докладе на IX пленуме правления Союза писателей специально отметил: “Н. Тряпкин – ещё далеко не оформившийся поэт, но остро видящий новое в нашей колхозной действительности...” Тут же последовал ответ Твардовского: “В докладе Фадеева положительную оценку получил молодой поэт Н. Тряпкин. А его стихи – дело ещё очень сомнительное. Нехорошо, когда современную деревню представляют себе в виде тройки, бубенцов, баб в панёвах”. Анатолий Тарасенков, одним из первых обративший внимание на молодого поэта, неодобрительно отметил его сходство с Николаем Клюевым, с поэзией “новокрестьян”, декларировал это не где-нибудь, а в “Правде”: “Не раз в журнале публиковались слабые в идейном и художественном отношении стихи Н. Тряпкина, вызвавшие ряд протестов читателей...” Имелся в виду журнал “Октябрь”, главный редактор которого Фёдор Панфёров грудью встал на защиту молодого таланта: “Пускай его ругают. А мы печатаем и будем печатать!”

Сам Тряпкин иронизировал по этому поводу в стихах 1949 года: “Только вывел я нашу вечерку // на концерт своих первых стихов, // моё имя пошло на подкормку // боевых долбунгов петухов. // Не горлань ты узорно, гармошка! // Ты, колхозная тройка, стоп! // Нам припишут клычковскую кошку, // что мурлычет про Ноев потоп...”

Но не так уж прост сам по себе вопрос, касающийся тряпкинских “ученичества”.

Вадим Кожин, по самому высокому счёту оценивший тряпкинскую поэзию ещё в середине 1960-х годов, на склоне лет в статье, посвящённой поэту и написанной для “Словаря русских писателей”, подчеркнул безусловное превосходство Тряпкина перед Клюевым: “Крестьянский мир нередко предстаёт у Тряпкина в качестве не “объекта” творчества, а своего рода точки отсчёта: поэт говорит о мире – притом сугубо современном мире – в целом, но соотносит его с вековым и извечным бытием деревни – колыбели человечества. Это было характерно и для творчества Н. А. Клюева, но Тряпкин далеко “превзошёл” своего предшественника...” И далее в качестве подтверждения своих слов он сослался на оценку Юрия Кузнецова: “Николай Тряпкин близок к фольклору, но близок, как летающая птица. Он не вязнет, а парит...” Очевидно,

в этом, по мысли критика, и состояло преимущество Тряпкина, в отличие от “вязнущего” Клюева.

Совершенно иначе оценил поэзию Николая Ивановича Георгий Свиридов, прочитав одну из тряпкинских книг. “В. В. Кожинлов прислал мне книгу стихов Н. Тряпкина. Он ценит этого поэта выше Клюева. Я прочёл эту книгу внимательно... Нет — стиля, похоже на многое, и на Есенина, и на Мартынова (с его претенциозной рифмой а la Бальмонт) и т. д. Тряпкин даже не поэт деревни, это поэт остаточной “резервации”, где доживают свой век бывшие крестьяне, а ныне даже не знаю, как их назвать, — “работники на земле”, что ли? В них сохранилось ещё ощущение своей русскости (остаточное). Но это люди, уже начисто лишённые чувства <собственной> земли, что-то производное от “ба-трачества”. В них нет уже и чувства нации как целого, ибо оно невозможно без веры, без религии... (Свиридов, естественно, не знал неопубликованных тогда “библейских” стихотворений Тряпкина. — С. К.). Трогательная, вяловатая лирика, честная, лишённая какой-либо фальши, даже в моментах стилизации. Он — Русский человек, обитатель деревни (переставшей быть деревней, “резервация для русских”), но не крестьянин, не земледелец, не “мужик” — нет чувства своей земли, нераздельности с нею...”

По сути, диаметрально противоположные оценки двух выдающихся мастеров отечественной культуры. Но истина — не посередине. Она в несколько иной плоскости, при всей точности отдельных наблюдений, содержащихся в высказываниях и Кожинлова, и Свиридова.

* * *

Николая Тряпкина, действительно, нельзя назвать ни подражателем, ни покорным учеником. Он шёл своей дорогой десятилетия, почти на ощупь, испытывая и горечь не столь уж малочисленных неудач, и радость творческих побед, редких вначале, всё чаще и чаще посещавших его с годами. Он развивался и рос в течение полувека, медленно, неуклонно совершенствуя свой талант. Со временем то, что лишь отдельными штрихами проявляло себя и давало возможность говорить о Тряпкине как о наследнике Николая Клюева (не издававшегося в России с 1928 по 1977 год), обрело полновесное звучание. Но уже в тот период, когда стало ясно, что Тряпкин не ограничился поднятым и бережно сохранённым наследием, в его поэзии открылось новое дыхание, оборванное в период “канунов”, вольная песня “крестьянской” лиры, сохранившая в голосе и памяти всю страшную эпоху перелома, шум которого поначалу глухо отзывался в его стихах, со временем начиная звучать всё более и более пронзительно:

*Проснись, моё сердце, и слушай великий хорал.
Пусть вечное Время гудит у безвестных начал.
Пускай пролетает Другое вослед за Другим,
А мы с тобой — только травинки под ветром таким.*

*А мы с тобой только поверим в Рожденье и Рост
И руки свои приготовим для новых борозд.
И пусть залепечет над нами другая лоза,
А мы только вечному Солнцу посмотрим в глаза.*

С годами выявлялся определяющий мотив творчества Николая Тряпкина — мотив Памяти. Памяти, несущей в себе всё тяжёлое, трагическое, надрывное, что сосредоточилось в истории ухода с исторической сцены русского крестьянства и его самобытной культуры. Эта тема дала себя знать не сразу — должно было пройти время, прежде чем пережитое, накопленное стало воплощаться в стихи. Сам Тряпкин отнюдь не надрывен, он отдал щедрую дань смеховой, песенно-плясовой стихии народного творчества. Не так уж мало в его наследии стихотворений, где он не прочь и над собой поиронизировать, и над окружающими по-доброму посмеяться. И всё же, если читать его стихи в хронологическом порядке, ощущение земной тяжести и боли за утраченное будет нарастать.

“Я всё тревожнее с годами, // ревнивей к прожитому дню...” — это признание прозвучало ещё в 1948 году, в стихотворении, написанном тридцатилетним поэтом. Но поистине нужно было ещё пережить первый приступ радости внутреннего освобождения, чтобы по-настоящему осмыслить этот “прожитый

день” и через него обратиться к более давним временам, к “скрипу своей колыбели”, который напомнил поэту его родословную и народную трагедию, отзвуки которой всё чаще звучали в его стихах, написанных уже в 60-е годы.

*Сколько снегов промчалось!
Сколько дождей пролилось!
Сколько опять — в коренья,
Сколько опять — в зерно!
Грозы прошли над миром,
Древо отцов свалилось —
И на сыновние плечи
Прямо упало оно.*

Память надвое рассечена рубежом, по одну сторону которого слышится “звон боевых копыт” и скрип детской колыбели, а по другую — совсем иные, тревожные звуки: треск сломанного дерева и тоскливый вой пурги. Тряпкин поразительной силой художественного дара сумел удержать в равновесии светлые и тягчайшие воспоминания, не дав перевеса ни одному из них. Свирель, поющая над погостом, — ещё не символ конца жизни, это лишь этап, страшный отрезок, который проходят несколько поколений, чтобы те, кому Бог дал, выжили и сумели донести до потомков свою горькую повесть, и спеть старую, народную, исполненную удалого раздолья и сердечной тоски, почти забытую ныне песню... “Эта песенка сполюбилась нам, // да промчались мы по своим костям...” Сколько их, промчавшихся, от которых и следа не осталось на этой земле, вроде Степана, героя одноимённого стихотворения, что “разругался в дни в тридцатый год” и исчез бесследно в военном лихолетье так, что никто уже никогда не узнает, “под каким ракиновым кустом” затерялась его могилка, или вроде Ваньки-однолишника, о котором осталось лишь вздохнуть: “Запропал ты где-то там... Ой-ё-ёй! // Душу грешную, Господь, упокой...”?

Медленно, шаг за шагом подходил поэт к эпическому сказанию о своей жизни. Первые главы его были написаны в начале 80-х годов, когда Тряпкин обрёл былинную поэтическую мощь, когда прежние отдельные попытки совместить временные пласты отступили перед открывшейся картиной народной трагедии, в которой органически слилось недавнее прошлое и видения набегов и захватов, переселений народов и исчезновений их с лица земли, отделённые от нас веками и тысячелетиями.

*И настало то утро, зачавшее это сказанье,
И подводы со скарбом стояли уже у крыльца.
И толпился народ, и галдел, как на общем собранье,
Хлопотали отцы, не забыв про стаканчик винца.*

*И стучал молоток, забивая горбыльями окна,
И лопата в саду засыпала у погреба лаз.
И родная изба, что от слёз материнских промокла,
Зазвучала, как гроб, искони поджидующий нас.*

*Это было — как миф. Это было в те самые годы,
Где в земной известняк ударял исполинский таран.
И гудела земля. И гремели вселенские своды.
И старинный паром уходил в Мировой океан.*

Диву только даёшься, читая в известной антологии Евгения Евтушенко в предисловии к подборке Тряпкина: дескать, виделся талантливым балалаечником, и вдруг оказался поэтом с душой бунтаря. Разглядели! Словно не было написанных и напечатанных в 60-е годы стихотворений о судьбах людей, сорванных и гонимых мусорным ветром по земле, оставшейся родной, но обезображившейся на глазах. “Сеял рожь на счастье кто-то, сеял рожь // Уродилась у кого-то лебеда. // У кого-то, у кого-то дегтем вымажут ворота // — и от жизни у кого-то ни следа...” А ведь песенная, плясовая мелодия, торжественная хоральная и протяжная трагическая нота реквиема по невинно убиенным, перемолотым в мясорубке, размалывающей “мир насилия до основания”, образуют в его поэзии неразрывное гармоническое единство, симфонию Времени и Жизни в её полноте.

Как удалось Тряпкину повенчать в своей душе ощущение единства и разлада — не будем гадать. Он пришёл к этому после долгих и целенаправленных поисков, и факт остаётся фактом: невозможно ощутить в его самых трагических стихах чувства глухой безнадежности, а самые весёлые и “беззаботные” строки отнюдь не способствуют наплыву безмятежного спокойствия.

Ответом на счастливые вопли о том, что “нет счастливой участи” (столь созвучные со знаменитым “я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек”), может быть лишь это:

*А между тем, лишь погляди спокойней,
Вот он — итог свершений мировых:
Всё тот же пресс, всё та же маслобойня,
А ты, в конце концов, всё тот же жмых.*

*И вот он, круг призвания земного,
И вот он, круг истории людской,
И нет пока что выхода другого,
И нет пока истории другой.*

Но Тряпкин не был бы Тряпкиным, если бы подобный вывод был для него окончательным и бесповоротным. Он не может впасть в безысходность, он, вопреки всему, сохраняет своё неизбывное жизнелюбие, доставшееся ему от предков и старших собратьев-поэтов, от которых он во всей полноте унаследовал его вопреки всему.

И как бы переключаясь с давно ушедшим старшим собратом, пророчествовавшим более полувека наза: “Только будут, будут стократы // на Дону вишнёвые хаты”, — Тряпкин не может не верить в то, что мир не рухнет в пропасть и не сгорит в испепеляющем пламени, что его родная земля, его Россия снова встанет “смирительным щитом” среди “людских кровавых смут” и спасёт этот мир, обезображенный, но ещё не утерявший окончательно своей красоты, спасёт во имя “иных времён”, во имя будущих поколений.

*Среди лихой всемирной склоки,
Среди пожаров и смертей
Все реки наши и потоки
Для нас всё ближе и святей,*

*И каждый цвет, и прозябанье,
И солнца вешнего набат...
Земля моя! Моё сказанье!
Мой неизбывный Вертоград!*

* * *

Не устаёт поражать внутренняя свобода, с которой Тряпкин соединял разнородные языковые пласты — три основные слоя — в неразрывном смысловом, сущностном гармоническом сочетании. Слой фольклорный, слой, разработанный классической русской поэзией XIX века, и слой современного живого разговорного языка.

Через устное народное творчество Тряпкин постиг сам мир поэзии и воспроизвёл в ранних стихах ноты народных песен и частушек непосредственно, как бы по-иному переключая их, взятые из первоисточника. Немного удач было на этом пути, но лучшие стихотворения начального периода лишены всяких признаков стилизации, искусственности, оранжерейности. Удача приходила к поэту, когда он не подражал народной песне, а создавал её.

При этом Н. Тряпкин был менее всего озабочен привлечением читательского внимания к своим стихам за счёт эксплуатации фольклорных мотивов. Напротив, он обратился к ним в то время, когда любые признаки народнопоэтических традиций в поэзии объявлялись “архаикой” и “оторванностью от современности”. Тряпкин долго и напряжённо искал себя как поэта. Первый его сборник вышел в 1953 году, когда поэту было 35 лет. После этого прошёл длительный период творческого созревания, который завершился на рубеже 60–70-х годов.

Песенная линия не сошла “на нет”, но основное место в творчестве Н. Тряпкина заняли стихи эпико-философского склада. “Крестьянская” традиция сказывается в них в остро публицистическом пафосе, с каким поэт подчёркивает свою принадлежность к народу, свою крестьянскую сущность.

В этих стихах невозможно не почувствовать того органического сплава песенной стихии и глубинных размышлений о России, судьбе национальной культуры, что находит своё воплощение в строчках, поражающих своей свободой, раскрепощённостью и одновременно внутренней сосредоточенностью. Публицистический пафос, соответствующий нелёгкому движению поэтической ноты, вырывающейся из потаённых глубин, сродни пафосу Николая Клюева, о котором неизбежно приходится вспоминать, говоря о Тряпкине.

В стихах, посвящённых памяти “Аввакума двадцатого столетия”, Тряпкин делает акцент на органичной связи подлинного поэтического слова с природой, с Матерью Сырой Землёй, опосредованно подчёркивая наиболее отличительную черту своего собственного творчества. Слово, имеющее глубокие корни в родной почве, в национальной стихии не пропадёт и не сгинет, даже если долгое время будет существовать под спудом в драматические минуты истории, принакрытое невидимой завесой Тайны, скрывающей от непосвящённых божественную мелодию.

*Он сам себя швырнул под ту пядь,
Из-под которой — дым, и прах, и пламя.
Зачем же мы всё помним ярость ту
И не простим той гибели с мощами?*

*Давным-давно простили мы таких,
Кому сам Бог не выдал бы прощенья.
А этот старец! Этот жалкий мних!
Зачем в него летят ещё камня?*

Кровная связь Тряпкина с народом, глубокая духовная связь его поэзии с народной культурой, связь, оплаченная по высшей цене, подобной той, которую платил за каждую свою строку олонецкий песнотворец, обусловлена всей жизненной судьбой поэта. Он родился в глухой тверской деревушке Саблино, сохранившей патриархальный крестьянский уклад жизни.

Не призванный на фронт по состоянию здоровья, он в первые годы войны оказался в эвакуации в сольвычегодской деревне, недалеко от Котласа. А о дальнейшем сам поэт рассказал в автобиографии.

“Коренной русский быт, коренное русское слово, коренные русские люди... У меня впервые открылись глаза на Россию и на русскую поэзию, ибо увидел я всё это каким-то особым, “нутряным” зрением. А где-то там, совсем рядом, прекрасная Вычегда сливается с прекрасной Двиной. Деревянный Котлас и его голубая пристань — такая величавая и так издалека видная! И повсюду — великие леса, осенённые великими легендами. Всё это очень хорошо для начинающих поэтов. Ибо сам воздух такой, что сердце очищается и становится певучим. И я впервые начал писать стихи, которые самого меня завораживали. Ничего подобного со мною никогда не случилось. Я как бы заново родился, или кто-то окатил меня волшебной влагой”.

*Августовские ночи! И сузем, и лещуга,
И земной полубред.
Это было на Пижме, у Полярного круга,
У застывших комет.*

Вселенское Время в творческом сознании поэта сжимается, проносятся в течение мгновений целые тысячелетия. В единую секунду бытия начинают существовать Рождение и Закат человеческой цивилизации, зачатие Вселенной и распад узловых корней земного существования. В нерасторжимом единстве сплетены общенародные, государственно-национальные взгляды и общечеловеческая, космическая мысль. Поэту доступно воплощение всемирности, единовременности всего происходящего на Земле и в Бесконечности. Словно по спирали он расширяет свой духовный мир, что даёт ему возможность раздвигать границы прекрасной эстетической традиции. Каждая секунда бытия отпечатывается в сознании поэта, притом, что сам он как бы вечен, подобно немеркнущему свету звёзд.

*А над миром сияли полуночные горы
В полуночном венце.
Это было в Начале, у истоков Гоморры,
Это будет в конце...*

*Сколько веков я к порогу Земли прорубался!
Застили свет мне лесные дремучие стены.
Двери открылись. И путь прямо к звёздам начался.
Дайте ж побыть на последней черте Ойкумены!*

Здесь, на грани Земли и Космоса его глазами открывается прошлое, настоящее и будущее, здесь он – творец мира. Россия сама становится частью Космоса, венчает Землю своей священной короной. Органическая связь России и русского поэта остаётся нерасторжимой и здесь, “на последней черте”.

*Чёрная, заполярная,
Где-то в ночной дали
Светится Русь радарная
Над головой Земли.*

.....
*Пусть ты не сила крестная
И не исчадьё зла,
Целяя поднебесная
В лапы твои легла.*

И сам поэт выстраивает вертикаль от подземных глубин в Божественные выси, ощущая себя единосущным с Русью, удерживающей мировую вертикаль, бросая взгляд на великих предшественников и созная свою неповторимость. Не царь, не раб, не червь и не Бог (вспоминается Державин!), но – русский человек в своей переменчивости, в своих многочисленных ипостасях и в своей гармонии, единстве тела, души и духа, принимающий на себя всю силу земных катаклизмов и таинственных стихий, значение которых остаётся за гранью человеческого сознания.

*Пусть я не тварь Господняя,
Но и не червь Земли.
Небо и преисподняя
В песни мои легли.*

На рубеже “какой-то смутной веры” ему доступно сдвинуть временные пласты, увидеть то или иное историческое событие наяву, пристально вглядеться в происходящее на его глазах, даже если это происходило за много столетий до его рождения.

Такие стихотворения, как “Чёрная заполярная...”, “Где же ты, сердце моё?..”, “Жёлтый тайфун”, намечали путь Н. Тряпкина к большому эпосу. В них поэт сдвигает подчас несколько временных срезов, соединяя их в одном ракурсе. Он идёт на прямое соединение былинного начала и бытового повествования о сегодняшних днях. Широкое эпическое полотно, развёрнутое на протяжении нескольких строф, исполнено в то же время глубокого лиризма.

Столь характерное для поэта совмещение реального и исторического пластов ярче всего воплощено в одном из его лучших стихотворений – “Песнь о хождении в край Палестинский”. Легенда, рассказанная поэтом о своём дедушке-богомольце, воспринимается как реальность, но одновременно и как далёкое прошлое, окутанное идилической дымкой, не имеющее ничего общего с нынешней трагедией на иорданских берегах.

Этот образ набожного старика родствен образу Савелия Пижемского, рождённого фантазией поэта, с удивительной творческой дерзостью сопоставляющего различные эпохи. Трагическая фигура пьяного забулдыги, бывшего старообрядца, безбожника и охальника, шумящего по улицам, чередующего пьяные частушки и “псалом о местах пересыльных, о решётках пяти лагерей”, напоминает Савелия – богатыря святорусского, воплощение русской удали и богатирства, или былинного Святогора, так и не нашего применения своей чудовищной силе, и, наконец, того сказочного богатыря, которого видел в своих пророческих снах Гоголь.

“Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь в глубине моей; неестественною властью светились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, не знакомая земле даль! Русь!..”

Но не стало места, где бы можно было развернуться богатырю. Незаурядная натура, богатырская во всех смыслах слова, обречена. Вселенский великан становится Савелием Пижемским – убийцей и богохульником, свистящим по ночам под чужими дворами.

*“Эй вы, у-лоч-ки,
Переу-лоч-ки...”
Что за хрен такой на прогулочке?
Полупьяная бестия, в дым борода,
Заводила, чудила, шалыва.
Матюгами швыряешь туда и сюда...
Ой ты, Савва!*

.....
*А кругом — только чёрные скитские ели,
Только ели, куда ни качнись...
Самолёты летят. И в таёжные прели
Молодые стрелки подались.*

И ещё один богатырь прежней эпохи, “отче Никаноре”, идёт “ко святым местам”, дабы окунуться в святую реку, приобщиться к мировому духу, пройти по пескам Палестины. . . Минуло почти восемьдесят лет с той поры. На иорданских берегах “курятся и поднесь дедушкины печки”, но от спокойствия, религиозного умиротворения не осталось и следа.

Польхают пожары, доносится запах гари и крови, слышатся стоны погибающих. “Священная война”, “война за Божью землю” или как там ещё, на поверку оказавшаяся кровавой бойней, в которой современные фанатики пытаются чужой кровью отплатить за собственную историческую невоплощённость.

*Что же вы творите здесь опять,
Ироды-злодеи?*

*Почему кровавы здесь пески
И в слезах горючих?
И не Бог ли рвёт свои виски
На сионской круче?*

Убеждённость в неотвратимом возмездии сливается с трагедийным чувством, которое слышится в голосе поэта, обращающегося к векам и мирозданию от имени погибших, принявшего на себя их боль и воплотившего её в голосе, обретшем пророческую силу, словно пронизывающем земной круг и космические дали. . .

*Грохотала земля. И в ночах горизонты горели,
Грохотали моря. И сновали огни батарей...
Ты прости меня, матушка, что играла на тихой свирели
И дитя уносила — подальше от страшных людей.*

.....
*Проклинаю себя и все страсти свои не приемлю.
Это я колочусь в заповедные двери твои:
Ты прости меня, матушка, освятившая грешную землю,
За неверность мою, за великие кривды мои.*

* * *

В последние годы у Тряпкина, всё набирая силу и полноту звучания нота сопротивления. Сопротивления пошлости, чужебесию, расчеловечиванию. Он, тяжело переживший развал страны, октябрьский расстрел

1993 года, не мог и не хотел смириться с происходящим: “И фриц, и лях, и тарва, // хватало и другого хама. // Но не видала ты, Москва, // такой блевотины и срама”... “И все наши рыла – // оскаленный рот. И пляшет горилла // у наших ворот... // Огромные гниды // жиреют в земле. И серут хасиды // в Московском Кремле. Давайте споём!” В его стоицизме ощущалось нечто аввакумовское, его непримиримость была сродни непримиримости огнепального протопопа.

Пророчество новых грозных испытаний слышалось уже в “библейском цикле”. “Ну, кто из пастырей земли // упреки мудрых переносит? // Какие в мире короли // глупца на пир свой не попросят?..”, “И видел я, как подлость торжествует, // и как неправда судит правоту, // и как жрецы за глупость голосуют // и тут же власть целуют ей пята...” Время сделало свою немолчимую работу, и то, что раньше плачем и стоном отзывалось в стихах поэта, с годами отлилось в строки, вопреки всему, несущие жизнь и свет – ибо не в “назём и глину” ушли его предшественники, его предки, оставившие поэту молчаливое завещание – досказать недосказанное ими: “Не помянем злую раскулачку, // чёрный лёд колымских рудников. // Превратим великую заплачку // в золотой и гордый Песнослов...” Тряпкин от едких и ироничных в своей беспощадности частушек переходил к величественным гимнам, слава, вопреки всему, “великий Советский Союз” и “великое братство людское”.

Он лучше ошалевших демократов знал цену, заплаченную за это братство, но не желал смириться с наплывом безбожной пошлости, растлением душ и умов, очередным геноцидом русского народа. Изнемогая под гнётом житейских невзгод, он с тревогой вглядывался в грядущее Отчизны, видевшейся ему, подобно Христу, распятой на кресте и терпящей поношения от ничтожных властителей. Но торжество тёмной и злой силы не вечно. Нечисть исчезает под лучами Божественного света, аки дым, не оставляющий следа.

*Пусть же провевет над нами крыло Серафима,
В сердце моём закипит огневая слеза!..
Снится мне Русь под созвездием Третьего Рима,
Верую, пращур, в святые твои образа.*

Поистине, полнота жизни и совершенное воплощение её в Слове не оставляют места страху перед смертью, ибо нет смерти для светлой и незамутнённой души поэта-праведника... Он знал это, и стоическим спокойствием и мудростью пронизаны его строки, рождённые предощущением неизбежного.

*Ой ты, камень под горою!
Ты совсем не алатырь.
Только буйной головою
Кто здесь падал на пустырь?*

*И галопом скачет вихорь,
Закрывая белый свет...
Только холмик с облепихой,
Только пыльный горчицвет.*

*Или, может, под тобою —
Никого и ничего,
Только к вечному покою
Ждёшь прихода моего?..*

Зимой 1999 года мы проводили в последний путь одного из драгоценнейших русских поэтов второй половины XX столетия. Кончина его была окружена гробовым молчанием, большинство населения России так и не узнало, кто в те морозные дни завершил свой земной путь.

*Завещаю кус простого хлеба
И в ночи горящий Водолей.
Поклоняюсь вам, земля и небо,
За весенний клёкот лебедей.*